

КОНЕЦ «КОНЦА ИСТОРИИ»: КОНТУРЫ НОВОГО МИРА В УСЛОВИЯХ «ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ»

Валерия Кораблева

Институт международных студий, Карлов университет

ORCID: 0000-0003-4523-7557

Резюме. *В статье рассматриваются тектонические сдвиги современной цивилизации, часто осмысливаемые как кризис либеральной демократии и, шире, как кризис европейского проекта модерна. Автор показывает, как триумфалистское мировоззрение начала 1990-х годов, удачно схваченное известным тропом «конца истории», сегодня сменяется катастрофическим умонастроением. Утверждается, что современный поликризис требует новых теоретических подходов и нового социально-политического словаря.*

Выделено три магистральных направления современного теоретизирования. Первый основан на мировоззрении «конца истории», сохраняющем настоящее как ключевую точку референции, а либеральную демократию западного толка – как вершину идеациональной и институциональной эволюции. Второй подход вращается вокруг циклического прочтения истории, будучи нацеленным на отслеживание до-модерных явлений в текущих событиях. Его концептуальный арсенал

включает понятия ретрадиционализации, демодернизации, неотрайбализма и т.п.

Автор утверждает, что возможен альтернативный подход, уделяющий основное внимание новым тенденциям в современности, что позволяет разомкнуть будущее, высвобождая его от исторической детерминации. Такой подход разрабатывается в статье, основываясь на идеях Ульриха Бека, Кена Джоуитта и Мэри Калдор. Доказывается, что в рамках «глобализованных пространств действия» (У. Бек) любой локальный конфликт имеет глобальное измерение и глобальные последствия; что новизна современной войны должна быть переосмыслена в пост-клаузевицких терминах, а именно как новая социальная и человеческая ситуация. Предполагается, что эрозия современного государства усиливает потребность в сильных транснациональных институтах на фоне активного космополитического сообщества граждан. В создании последнего гуманитарии могут участвовать и посредством своей гражданской позиции, и своей профессиональной экспертизы. Активные граждане не только воспроизводят «островки цивилизованности» в условиях военных конфликтов, но также способны инициировать «движения надежды» в качестве альтернативы «движениям гнева», и тем самым поддерживать «политику соучастия» в противоположность «политике ярости».

Ключевые слова: *конец истории, эпистемологическая растерянность, новый мировой беспорядок, глобализованные*

*пространства действия, островки цивилизованности, движения надежды,
политика соучастия.*

Введение: историческая цезура и эпистемологическая растерянность

По мнению ряда теоретиков, мы живем во времена исторической цезуры, когда будущее перестает видеться продолжением настоящего. Славой Жижек (2012) вводит в данном контексте различие будущего (*futur*) и грядущего (*avenir*), когда «будущее» мыслится как реализация потенциалов, уже заложенных в настоящем, в то время как «грядущее» обозначает радикальный разрыв с «сейчас» и не может быть предсказано исходя из текущей точки стояния. Более того, на фоне роста неудовлетворенности настоящим будущее рисуется в катастрофических тонах. Как формулирует это Ханс Ульрих Гумбрехт: «Для нас будущее больше не представляет собой открытый горизонт возможностей; напротив, оно становится измерением, все более закрытым для всех прогнозов, – и в то же время надвигающейся угрозой» (2014, р. xiii). И продолжая данную мысль в интервью вскоре после президентских выборов в США: «Я чувствую, это *Stimmung* конца чего-то. Не совсем понятно, что именно подходит к концу, возможно, и ничего на самом деле, но, если существует один мотив, который пронизывает все это смятение и центробежные интерпретации того, что происходит, это всегда утверждение, что нечто заканчивается. Мы должны всерьез поставить вопрос, являются ли институциональные формы и практики, возникшие при определенных исторических условиях в 18 веке, более не жизнеспособными, являются ли катастрофы, которые всегда были возможны, подобные той, что произошла 30 января 1933 года в этом

городе [Берлине. – В.К.], сегодня более вероятными, – значит, мы должны *вообразить что-то иное*. Нечто подходит к концу, но мы не уверены, что это может быть. Это приводит к *двойной неуверенности*, ведь пока мы не знаем, *что* заканчивается, мы не знаем, что придет ему на смену, и мы не можем выработать рецепт или стратегию»¹ (Gumbrecht, 2016).

Обозначенная «двойная неуверенность» свидетельствует о том, как размытые контуры будущего проблематизируют настоящее и побуждают нас пересмотреть устоявшиеся подходы и концепции. Подобная эпистемологическая растерянность предстает зеркальным отражением экзистенциальной растерянности на уровне повседневности. Как отмечает Иван Крастев (2017), если в 1960-е годы дети стремились жить лучше своих родителей, то теперь они мечтают жить не хуже, при этом данная мечта представляется трудно реализуемой. Так, по свидетельству социологических опросов, 53 процента родителей в Австралии и 90 (!) процентов родителей во Франции считают, что их дети будут жить хуже, чем они (Bauman, 2017, p. 5). Подобное катастрофическое мироощущение является результатом череды кризисов, сотрясающих «цивилизованный мир»: экономическая неустойчивость, обостренная финансовым кризисом 2008 года; природные катаклизмы и предчувствие экологической катастрофы; террористические атаки в США и Западной Европе; кризис либеральной демократии и ценностей открытого общества, выраженный в повсеместном росте популизма и панике против притока беженцев. Так триумфализм 1990-х сменился катастрофизмом

¹ Здесь и далее курсив мой.

2000-х и особенно 2010-х. Это состояние, условно обозначенное мною как «конец конца истории», требует пересмотра подходов и моделей мира. При этом особое значение приобретает темпоральность: возможные пути теоретизации смещают фокус рассмотрения на прошлое, настоящее или будущее. Любопытно, что взаимное наложение эпистемологической и экзистенциальной растерянности ведет к сопоставленным поискам научных и жизненных ответов вдоль этих линий.

Первое направление может быть условно обозначено как «бесконечное настоящее» (Gumbrecht, 2014), когда концептуальные новации характеризуются приставкой «пост-» (постдемократия, постполитика, постправда и т.д.) и тем самым отрицается возможность иных понятий и подходов, а фокус внимания сохраняется на наличном. Пути решения при этом видятся в усовершенствовании и усилении текущих проектов: «больше Европы», «больше демократии» и т.п. Такое мировоззрение является европо- и рациоцентричным, а также историко-прогрессистским. Оно центрировано убеждением, что любые девиации на пути прогресса являются временными и не меняют общего хода истории, в которой либеральная демократия неизменно предстает вершиной эволюции. Как формулирует это Френсис Фукуяма, защищая свой центральный тезис спустя 25 лет после выхода нашумевшей книги: «Более того, в сфере идей у либеральной демократии по-прежнему нет реальных альтернатив (...) ни исламистская теократия, ни китайский капитализм не способны ее ниспровергнуть. Как только общества встают на эскалатор индустриализации, их социальная структура начинает

меняться в сторону запроса политического участия. Если политические элиты удовлетворяют этот запрос, мы получаем некую версию демократии» (Фукуяма, 2014).

Это мировоззрение триумфалистского «Запада», вообразившего себя реализованной утопией и образцом для наследования, мира, в котором, словами Дэниела Бэлла, «лучшее будущее невозможно вообразить» (1960). Из такой позиции возможны два варианта развития мысли: либо игнорировать негативные явления как незначимые эпифеномены неизбежного прогресса, либо трансформировать оптимистичную телеологию истории в эсхатологию. В последнем случае ключевой задачей становится замедлить ход истории, задержать ускользающее прошлое-настоящее, мир, «уносимый ветром».

Альтернативой вектору истории всегда было ее циклическое прочтение. В этой группе интерпретаций происходящего доминирует идея вечного возвращения и стремление прочесть новое как «хорошо забытое старое». Часто обозначаемый понятиями с приставками «ре-», «де-» и «нео-» (например, ренационализация, демодернизация, неосредневековье), данный подход смещает акценты на прошлое, либо предлагающее эвристичные модели понимания (холодная война 2.0), либо воспринимаемое как идеальный образец (ретрадиционализация). Зигмунт Бауман (2017) вводит для обозначения этой направленности понятие «*ретротопия*» – когда в условиях недоверия к будущему люди начинают воссоздавать воображаемое идеальное прошлое. Светлана Бойм называет это «эпидемией ностальгии», которая служит «защитным механизмом во времена ускоренного ритма жизни и исторических

потрясений» (2008, р. xiv). В самом деле, многие современные явления можно трактовать как откатывание колеса истории на шаг назад – от интеграционных проектов к новой обособленности, будь то в форме неотрайбализма или усиления роли национальных государств; от открытости к укорененности; от проектов мирного взаимодействия к локальным конфликтам, грозящим перерасти в масштабные военные действия. Описывая данные тенденции как неотрайбализм, Бауман цитирует Майкла Уолцера: «Если государства когда-либо станут разросшимися соседствами (neighbourhoods), вероятно, соседства станут маленькими государствами. Их члены организуются для защиты своей локальной политики и культуры против чужаков. Исторически соседства превратились в закрытые местечковые сообщества...» (Bauman, 2017, р. 49).

Тимоти Снайдер в недавней книге (2018) противопоставляет две обозначенные тенденции как соревнующиеся (гео)политические стратегии – «политика неизбежности», свойственная коллективному Западу (мировоззрение «конца истории»), против «политики вечности», взятой на вооружение современными авторитарными режимами (идея «золотого прошлого» и возврата к истокам, ретрадиционализации).

Схватывая контуры нового мира: интеллектуальный вызов Ульриха Бека

Однако, думается, возможен третий подход, сохраняющий фокус на будущем. Это подход, стремящийся выработать новый

концептуальный язык для описания текущих процессов, не прибегая к устоявшимся понятиям, пусть даже дополненным приставками. Наиболее выпукло он представлен в последней работе Ульриха Бека «Метаморфоза мира»: «...мы живем в мире, который не просто меняется, происходит метаморфоза. Изменение предполагает, что одни вещи меняются, но другие остаются неизменными (...) Метаморфоза предполагает гораздо более радикальную трансформацию, в которой старые определенности современного общества отпадают и возникает нечто совершенно новое. Чтобы схватить эту метаморфозу мира, необходимо исследовать новые начинания, сосредоточиться на том, что возникает из старого, и стремиться понять будущие структуры и нормы в хаосе настоящего» (2017, р. 2-3).

Бек подчеркивает, что, несмотря на убеждения и проповедуемые идеологии, мы де-факто существуем в «глобализованных пространствах действия» (globalized spaces of action). И для того чтобы быть успешными и конкурентными на рынке идей, даже религиозный фундаментализм и местечковый провинциализм учитывают глобализационный контекст и следуют его логике. Этот радикальный сдвиг в контексте действия с неизбежностью требует пересмотра концептуальных рамок, или научной революции, по Томасу Куну. Бек, неявно апеллируя к Канту, называет это Коперниканской революцией 2.0, когда мир, центрированный национальными государствами (*«методологический национализм»*), замещается таким, в котором гравитационными

центрами выступают «мир» и «человечество» (*«методологический космополитизм»*).

Это не означает исчезновения современного государства как такового, но, скорее, утрату его значения как ключевой арены действия: границы государства становятся перфорированными, его монополия оспаривается «сверху» транснациональными институтами и «снизу» локальными инициативами. Важным моментом предлагаемого Беком подхода является переоткрытие будущего, его высвобождение от детерминизма, как позитивного, так и негативного. Исход истории не предзадан, развитие текущих тенденций может привести как к техногенным и антропогенным катастрофам, так и к квантовому скачку человечества на новый уровень моральности и социальности. Современный мир полон мрачных прогнозов, но, согласно Беку, это мироощущение гусеницы, для которой метаморфоза представляется катастрофой, концом привычного мира, ведь она не способна помыслить свое будущее бабочки. Подобным образом мы склонны апокалиптически истолковывать конец привычного нам мира, при этом не стремясь увидеть контуры и возможности грядущего мира.

Данная статья подхватывает интеллектуальный вызов Ульриха Бека сосредоточиться на подлинно новом в текущих событиях, и с этой целью будут использованы идеи Кена Джоуитта и Мэри Калдор.

Неправильно понятый 1989-й: Фукуяма против Джоуитта

В 1992 году одновременно выходят в свет две книги американских политологов, по-разному концептуализирующие конец холодной войны и развал Советской империи². Одна из них, «Конец истории и последний человек» Френсиса Фукуямы (1992), развертывает аргументацию резонансной статьи (1989) и становится доминантной интерпретацией мира после 1989 года. Вторая, «Новый мировой беспорядок: вымирание ленинизма» Кена Джоуитта (1992), представляет издание «по запросу», долгое время остающееся на маргиналиях соответствующего дискурса. Однако недавние события заставляют пересмотреть эвристичность каждого из представленных прогнозов.

Как я пытаюсь аргументировать в другой своей публикации (Korablyova 2018), Восточная Европа потерпела поражение в утверждении своей интерпретации бархатных революций. Уильям Буллит, комментируя результаты Ялтинского (и – неявно – Версальского) мира с американской точки зрения, написал эссе «Как мы выиграли войну и проиграли мир» (1948)³. Подобным образом гражданское общество в странах Восточной Европы смогло выиграть схватку с советским Голиафом, но проиграло борьбу за интерпретацию своих интенций и возможных последствий. Как отмечает Дэвид Ост в своей книге о польском движении Солидарности: «Именно это делает опыт Солидарности столь захватывающим – этот сложный, драматичный,

² Этим наблюдением я обязана Ивану Крастеву (2017).

³ Подробнее об этом (Эткинд 2015).

болезненный, и все же волнительный поиск этого ускользающего “третьего пути”. Целью было политическое устройство не капиталистическое и не социалистическое, не восточное и не западное, но что-то новое и оригинальное, заимствующее все ценное из существующих моделей, при этом не воспроизводящее ни одну из моделей в целом» (Ost, 1990, с. 14-15).

В противовес этому, историческое событие 1989 года было расценено как безоговорочная победа коллективного Запада, дающее ему карт-бланш на мировую экспансию «цивилизационного пакета» с неолиберальным привкусом⁴. Безусловно, Фукуяме удалось схватить дух времени, и его концепт стал самосбывающимся пророчеством. Но конец холодной войны был победой либеральной демократии западного толка или началом новых противостояний? Кен Джоуитт предлагает альтернативное прочтение.

Он соглашается с Фукуямой, что 1989 год является мировым историческим событием: «Все это действительно означает “конец истории”, несомненно, истории последних сорока пяти лет, а возможно, и прошедших двух столетий» (Jowitt, 1992, р. 268). При этом Джоуитт, ссылаясь на Токвиля, саркастически отмечает неспособность большинства ученых помыслить новое, когда, используя весь профессионализм и мощь интеллекта для детального и глубокого описания всего, что есть на горизонте, они оказываются «неспособны представить, что горизонт может измениться» (Ibid., р. 277). Книга

⁴ Детальное обсуждение уроков 1989 года представлено в специальном выпуске «Международного журнала политики, культуры и общества» (например, Falk, 2009).

Джоуитта представляет попытку помыслить немислимое, уловить зарождающееся новое – в унисон с более поздними попытками Ульриха Бека. Политолог отмечает ограниченность гегельянского истолкования истории в версии Фукуямы, ведь противниками и оппонентами либеральной демократии выступают не только альтернативные идеологии в общей рамке модерна (нацизм и коммунизм): «Либерально-капиталистическая демократия породила ряд разнородных оппонентов: поэтов-романтиков, персидских аятолл, аристократов, католическую церковь и фашистов» (Ibid., p. 269).

Подобно Фукуяме, Джоуитт ставит в один ряд нацизм, коммунизм и либеральную демократию – но не как идеологии, а как иерархические монолитные системы, обеспечивающие идентичность и чувство принадлежности, – дополняя перечень исламом и христианством. Христианство базируется на стандартизированной мессе, использовании латыни и международной страте епископов, его символический центр – Рим. Советский режим («ленинизм») основывается на коллективизации, соревновательной индустриализации, бюрократическом классе номенклатуры и идеологической линии партии; его символический центр – Москва. Либерализм строится на золотом стандарте, парламентской демократии и свободной торговле, международном классе менеджеров и символическом центре в районе «Сити» в Лондоне (Нью-Йоркской бирже?).

При всем разнообразии представленных акторов, их критика либерализма направлена против сущностных черт последнего – индивидуализма, материализма, акцента на достижения и рационализм.

По мысли теоретика, грядущий кризис либеральной демократии во многом обусловлен ее собственными промахами, в частности недооценкой человеческой потребности в безопасности и подавлением аффективной стороны социальной жизни. Исходя из этого, Джоуитт прогнозирует появление *движений гнева*, основанных на ценности групповой принадлежности, солидарной безопасности, экспрессивном поведении и героическом действии. Он точно прогнозирует снижение роли институций и экономических показателей в пользу харизматического лидерства и аффектов: «великие люди», или те, кто жаждут таковыми считаться, будут предлагать себя в качестве точек опоры, гарантов стабильности и свершений» (Ibid., p. 266). Согласно Джоуитту, движения гнева будут использовать *марксистский словарь* и *фаноновский этос* в постколониальной ситуации фрустрированности неудавшимися реформами: «их значимость также коренится в ожидаемой волне гнева в результате поражения (в большинстве случаев) рыночной электоральной демократии в создании суверенных, эффективных, справедливых наций» (Ibid., p. 278). В данном контексте довольно точным выглядит прогноз, что вместо экспансии западных образцов демократии, либерализма и рыночной экономики на весь мир стоит ожидать обратной волны – но не моделей, а людей из Ближнего Востока и Восточной Европы, и эта миграция изменит облик самого западного мира.

В целом прогнозы Кена Джоуитта выглядят сколь пронизательно, столь и мрачно. По мысли политолога, после холодной войны мир входит в состояние турбулентности, когда «кризисы, а не возможности развития, станут общим правилом» (Ibid., p. 265). Конец противостояния США и СССР

знаменует обнуление идеологических позиций, когда мир утрачивает былые определенности и входит в аморфное состояние, близкое библейскому Генезису, когда должны быть сформированы новые общности и обозначены новые позиции: «коллапс европейского ленинизма походит скорее на политический вулкан, чем на астероид. Извержение вулкана изначально затрагивает ограниченную территорию, в данном случае относящуюся к ленинским режимам, но, в зависимости о своей силы, последствия извержения постепенно, но драматичным образом влияют на жизнь на земле в целом. Ленинистский вулкан 1989 года будет иметь сопоставимый эффект на население либерального и «третьего мира» по всей планете. (...) Не стоит ожидать, что очистительный эффект исчезновения ленинизма будет самоограничивающимся, что политический шторм будет существенно терять свою силу по мере приближения к берегам западного и “третьего мира”. Ничто не может быть дальше от истины» (Ibid., p. 259–260).

Таким образом, мир «конца истории» – это не статичный гармоничный мир победившей демократии и либерализма, а мир потрясений, неопределенностей и катаклизмов, обозначенный теоретиком как «*новый мировой беспорядок*» – мир, «в котором существующие границы атакуются и изменяются; в котором задачей является установление новых национальных / интернациональных границ и “называние” – обозначение – новых образований» (Ibid., p. 264). Несмотря на мрачность предлагаемых прогнозов, подобно Беку, Джоуитт оставляет будущее открытым, рассматривая 1989 год как точку бифуркации, из которой развитие может пойти в любом направлении.

Вероятнее всего, это будут движения гнева, потенциально разрушающие ранее стабильный западный мир и апеллирующие к славному прошлому, но все же возможно и появление альтернативных «цивилизаций» / образов жизни как внутри, так и за пределами символического Запада. По мысли политолога, возможные альтернативы неразрывно связаны с появлением нового социального и политического словаря.

Представляется, что возможная альтернатива, конвертирующая политические аффекты в конструктивные проекты, представлена в «движениях надежды», примером которых могут быть как бархатные революции 1980-х, так и недавние массовые протесты в Украине, Армении, Румынии. Примечательно, что сам Джоуитт называет движение Солидарности «наиболее мощной и последовательной либерально-демократической революцией со времен Французской революции» (Ibid., p. 253), ее ядром было создание «индивидуального национального гражданина» в противовес партийным кадрам. Этот импульс был в значительной степени утерян в результате неолиберальных трансформаций 1990-х, обозначенных как «поражение Солидарности» (Ost, 2005). Но возрождение данного этоса в массовых движениях 2000-х и 2010-х представляет потенциальную альтернативу движениям гнева, а воплощенная в них политика соучастия – действенный противовес политике ярости.

Война как новая *conditio humana*

Мировоззрение «конца истории», помимо прочего, центрируется убеждением в исчерпанности военных конфликтов и движении

человечества к «вечному миру». Полвека относительного мира на европейском континенте представлялись достижением проекта объединенной Европы, сделавшего возможным историческое примирение Франции и Германии, Германии и Польши. И даже непрекращающиеся конфликты в других уголках земного шара интерпретировались в эволюционистском ключе – как рецидивы варварства, которые будут элиминированы по мере вхождения в «цивилизованное пространство». Как отмечает Тимоти Снайдер (2015), это основополагающая ложь в мифологии ЕС – что человечество вынесло уроки из ужасов мировых войн и подобное не может повториться. Реваншистские попытки России изменить свой геополитический статус через военные действия в Грузии, Украине и Сирии в сочетании с формирующимся праворадикальным альянсом в Европе разрушили эту комфортную иллюзию. Новая воинственность (Luttwak, 1995), часто осмысливаемая в категория «гибридной войны» и «прокси-войны» (Магда, 2017), обозначает не только технологический сдвиг в методах ведения войны, но и формирование новых социальных и политических структур, обеспечивающих новый милитаризм.

Мэри Калдор предлагает эвристичный теоретический подход в осмыслении феномена новых войн, которые она обозначает как «постклаузевицкие». По мысли теоретика, «новые войны обусловлены слабостью государства, экстремистской политикой идентичности и международной преступностью, и существует опасность, что этот тип насилия будет распространяться по мере нарастания экономического кризиса в мире» (Калдор, 2015, с. 21). Подобно Ульриху Беку, Калдор

считает, что любые локальные феномены сегодня существуют в глобальной рамке, что требует поиска глобальных решений локальных проблем. Джоуитт обозначает это «интерлокальными (intermestic) проблемами» – такими, которые являются «одновременно национальными и интернациональными», что обусловлено невозможностью проведения и удержания границ (Jowitt, 1992, p. 326). Как поясняет Калдор: «несмотря на то, что большинство этих войн (современных конфликтов “низкой интенсивности” – В.К.) носят локальный характер, они включают в себя несчетное количество транснациональных связей, отчего трудно удержать различие между внутренним и внешним, между агрессией (нападением из-за рубежа) и репрессией (атака изнутри страны) и даже между локальным и глобальным» (Калдор, 2015, с. 29–30).

Основной причиной данной трансформации является *эрозия современного государства*, оспаривание его монополии на легитимное насилие и со стороны международных институций (глобализация), и со стороны локальных игроков (приватизация войны). Формирование современного государства было неразрывно связано с утверждением монополии на насилие или вынесением насилия за границы государства, что, в духе теории общественного договора, гарантировало гражданам безопасность. Дальнейшее развитие привело к формированию блоковой системы в послевоенный период, что сопровождалось экстернализацией насилия за пределы блоков государств – «перманентной военной паникой» и охлаждением войны между «Западом» и СССР ввиду ядерной угрозы – на фоне продолжающихся горячих конфликтов в странах

«третьего мира». Современная ситуация представляет две разнонаправленные (но и взаимосвязанные) тенденции: одна продолжает логику *экстернализации насилия*, когда мирное процветание «развитого мира» возможно за счет существования «черных дыр» почти бесконтрольного насилия на периферии цивилизации; вторая представляет «колониальный бумеранг» нарастающей анархии и хаотизации внутри благополучного «центра», сотрясаемого террористическими атаками.

Это соответствует амбивалентной трактовке глобализации в противовес гомогенизирующей: современные тенденции приводят к нарастанию различий между «развитым миром» на одном полюсе (условным «Севером») со свойственными ему интеграцией и безопасностью – и «периферией» (условным «Югом»), который все больше фрагментируется и демодернизируется, на другом. Пессимистическая трактовка утверждает невозможность процветания первого без экстернализации эпифеноменов прогресса во второй (Carr & Mattei, 2015). Калдор подразумевает (хоть и прямо не артикулирует) невозможность изоляции этих двух полюсов и предлагает совместные поиски решения проблемы насилия через *«космополитическую политическую мобилизацию»*: «Можем ли мы помыслить мир, в котором насилие контролируется в транснациональном масштабе, в котором глобальные или транснациональные институты возвращают себе монополию на легитимное насилие и в котором злоупотребление властью со стороны тех же институтов может сдерживаться бдительным и

активным космополитическим сообществом граждан?» (2015, с. 351–352).

Здесь очевиден «методологический космополитизм» Калдор: утрата контроля над легитимным насилием со стороны нововременных государств неизбежна, ключевой вопрос состоит в том, как реконструировать легитимность и взять насилие под контроль. И предлагаемый ответ в духе кантовского «вечного мира» представляется достаточно утопичным, но вместе с тем единственно действенным решением. Ведь, как справедливо отмечает исследовательница, проблема заключается не в том, чтобы устранить военизированные группировки, ликвидировать частные армии или умиротворить агрессора, а в том, чтобы ликвидировать социальные и политические структуры, воспроизводящие конфликт.

Калдор утверждает, что современная война перестала быть политическим инструментом, «продолжением политики другими средствами». Теперь это не борьба политических волей, нацеленная на разгром противника, а «обоюдное предприятие», в существовании которого заинтересованы якобы противостоящие стороны. Более того, попытки решения конфликтов со стороны международных организаций руководствуются устаревшим клаузевицким прочтением, которое только поддерживает и подпитывает конфликт: стратегия «невмешательства» на деле увеличивает человеческие жертвы, приглашение милитантов за стол переговоров легитимирует их позиции и претензии, а международная благотворительная помощь является источником доходов для групп, контролирующих зоны конфликта. Важно понимать, что современные

войны ведутся против гражданского населения и против космополитических идеалов открытости и прав человека. Это не раннемодерные войны государств за территории и суверенитет, и не идеологические войны XX века за наиболее конкурентный вариант модернизации, и даже не партизанские войны за «умы и сердца» людей. Калдор подчеркивает, что современные войны ведутся через насаждение страха и ненависти, исключение несогласных; их бесконечное воспроизводство возможно в небезопасной среде, в атмосфере тревоги и подозрительности.

В определенном смысле война трансформируется из чрезвычайной ситуации, аннулирующей действие предшествующих норм и институций, в «социальное условие», неотъемлемый структурный элемент (гео)политического поля. В такой ситуации островки военных действий обслуживаются локальными параинституциями, функционально обеспечивающими правосудие, здравоохранение и прочие общественные блага – в то время как не прекращается экономическое и политическое взаимодействие с «нормальными» территориями, не охваченными войной. Подобный симбиоз радикально меняет саму логику войны, которая становится целью-в-себе. Обратной стороной «гибридной войны», достаточно подробно описанной теоретиками и публичными интеллектуалами, становится «гибридный мир» с доминантным *этносом подозрения*. Размывание границ между фронтом и тылом – на фоне нивелирования политических границ государств, перестающих служить разграничительной линией блоков и идеологий, – создают тотальную «патологию нормальности».

Заклучение: о роли интеллектуалов

Одним из ключевых идеологических разломов современности является дихотомия «открытости – закрытости» – Другому, Будущему, Идеям. Причем эта «линия фронта» пролегает не между цивилизациями (по Хантингтону) и не между странами и блоками стран (в духе новой холодной войны), а внутри каждой страны (в пределе – внутри каждого человека). И этот структурный сдвиг делает существующие политические границы перфорированными: от иных культурных образцов и от ужасов войны и террора невозможно за(у)крыться. Стена Орбана, равно как и планируемая стена Трампа, показывает абсурдную невозможность обеих затей. Тем не менее они удовлетворяют существующий запрос в укорененности и локализации. По меткому наблюдению Ивана Крастева, сегодня электорат требует от властных элит не процветания и справедливости, а национализации и защиты (2017). Параллельно с возвращением политики в публичную сферу происходит возвращение аффектов и страстей. Анемичный мир технолиберализма, или бюрократического управления, отходит в прошлое. Вместе с тем аффективная политика может быть реализована в разных модусах, где ключевыми альтернативами представляются *политика ярости* и *политика соучастия*.

Данная статья пытается поместить «необъявленную войну» в Украине в более широкий контекст «нового мирового беспорядка», точно спрогнозированного Кеном Джоуиттом еще в начале 1990-х. Подобная оптика позволяет рассматривать войну и военную риторику не как

причину недавних турбулентностей, а как *симптом тектонических сдвигов* европейской цивилизации. И тогда главной задачей интеллектуалов от гуманитаристики становится разработка подходящего социально-политического словаря для описания происходящих процессов. Сегодня гуманитаристика, возможно, как никогда прежде, трансформируется из инструмента осмысления мира постфактум в инструмент его преобразования. Когда слова становятся оружием, адекватные теории могут иметь значимые политические эффекты. Основной жертвой современных войн является гражданское население и идеалы открытого общества, а значит, интеллектуалы должны стать агентами новой космополитической политической мобилизации, предлагаемой Мэри Калдор, стать стороной переговорного процесса: «всегда существует возможность выявления местных поборников космополитизма, людей и мест, отвергающих политику войны, то есть выявления островков цивилизованности (...) Поскольку воюющие группы полагаются на стороннюю поддержку, постольку нужна сознательная стратегия опоры на локальные космополитические инициативы. (...) Действенный ответ на новые войны должен основываться на альянсе между международными организациями и локальными поборниками космополитизма с целью реконструировать легитимность» (2015, с. 252, 256, 258).

Такая роль принципиально отлична от роли «рупора национальных интересов», когда черно-белая картина мира и агрессивная риторика оправдывается самоцензурой и военным положением. Напротив, интеллектуалы способны (и должны?) создавать модели реальности,

сохраняющие ее сложность и удерживающие различие между фронтом и тылом, глобальным и локальным, истиной, правдой и мнением. Противопоставление патриотов и космополитов является частью упрощенной картины реальности, способствующей радикализации общества. Ключевая линия фронта пролегает между эксклюзивистскими партикуляристскими идентичностями-ярлыками и проектами, открытыми к диалогу. Интеллектуальный рынок сегодня переполнен катастрофическими прогнозами. Но, возможно, прав Ульрих Бэк, и это новый жанр «саморазрушающихся пророчеств», когда привлечение внимания к наиболее ужасающим перспективам способно их предотвратить и тем самым вдохнуть энергию в новые утопии за рамками «бесконечного настоящего».

Библиография

Bauman, Z. (2017) *Retrotopia*. Polity Press, 180 p.

Beck, U. (2017) *The Metamorphosis of the World: How Climate Change is Transforming Our Concept of the World*. Polity, 240 p.

Bell, D. (1960) *The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties*. Cambridge, Mass: Harvard University Press; New York: Free Press, 416 p.

Boym, S. (2008) *The Future of Nostalgia*. Basic Books, 444 p.

Bullitt, W. C. (1948) *How We Won the War and Lost the Peace: Former Ambassador Bullitt Looks Back on 15 Years of U.S. Foreign, Explains*

America's Dangerous Position in the World Today and Lists the Errors in Judgment That Got Us There. *Life*, Vol. 25, no. 9.

Capra, F., and Mattei, U. (2015) *The Ecology of Law: Toward a Legal System in Tune with Nature and Community*. Oakland: Berrett-Koehler Publishers, 240 p.

Etkind, A. (2015). *Mir mog byt' drugim. William Bullit v popytkakh izmenit' XX vek* [The World Might Have Been Different: William Bullitt Trying to Change the XXth Century]. Moscow: Vremia, 245 p.

Falk, B. J. (2009) 1989 and Post-Cold War Policymaking: Were the «Wrong» Lessons Learned from the Fall of Communism? *International Journal of Politics, Culture, and Society*, Vol. 22, no. 3, pp. 291–313.

Fukuyama, F. (1989) End of History? *The National Interest*, no. 16, pp. 3–18.

Fukuyama, F. (1992) *The End of History and the Last Man*. New York: Free Press, 464 p.

Fukuyama, F. (2014) At the End of History Still Stands Democracy. [online] *The Wall Street Journal*. Available from: <https://www.wsj.com/articles/at-the-end-of-history-still-stands-democracy-1402080661> [Accessed 10 September 2018].

Gumbrecht, H. U. (2016) Stimmung 2016. An interview with Hans Ulrich Gumbrecht; interview by Chris Fenwick and Dennis Schen. [online] *Literaturwissenschaft in Berlin*. Available from: <https://literaturwissenschaft-berlin.de/stimmung-2016-gumbrecht/> [Accessed 10 September 2018].

- Gumbrecht, H.U. (2014) *Our Broad Present: Time and Contemporary Culture*. New York: Columbia University Press, 110 p.
- Jowitt, K. (1992) *New World Disorder: the Leninist Extinction*. Ann Arbor, Michigan: University of California Press, 345 p.
- Kaldor, M. (2015). *Novye i starye voyny. Organizovannoe nasilie v global'nuu epokhu* [New and Old Wars. Organized Violence in a Global Era]. Moscow: Izdatel'stvo Egora Gaidara, 416 p.
- Korablyova, V. (2018) EuroMaidan and the 1989 legacy: solidarity in action? In: Kosicki, P. H., and Kunakhovich, K., ed. *The Long 1989: Decades of Global Revolution*. Budapest: CEU Press.
- Krastev, I. (2017) *After Europe*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 128 p.
- Luttwak, E.N. (1995) Towards post-heroic warfare. *Foreign Affairs*, 1995, Vol. 74, no. 3, pp. 109–122.
- Ost, D. (1990) *Solidarity and the Politics of Anti-Politics. Opposition and Reform in Poland since 1968*. Philadelphia: Temple University Press, 272 p.
- Ost, D. (2005) *The Defeat of Solidarity: Anger and Politics in Post-Communist Europe*. Cornell University Press, 500 p.
- Snyder, T. (2015) Integration and Disintegration: Europe, Ukraine, and the World. *Slavic Review*, Vol. 74, no. 4, pp. 695–707.
- Snyder, T. (2018) *The Road to Unfreedom: Russia, Europe, America*. New York: Penguin Random House LLC, 353 p.

Žižek, S. (2012) Signs from the Future. [online] *Johnshaplin*. Available from:
<http://johnshaplin.blogspot.com/2012/11/signs-from-future-by-slavoj-zizek.html> [Accessed 10 September 2018].